

Рождественские Устои



Книга седьмая
ГОРЬКИЙ
ЖЕЛИХОВСКАЯ
МОПАСАН

Аннотация

В завершающей книге серии «Рождественские истории» собраны произведения Максима Горького, Веры Желиховской и Ги де Мопассана. На страницах сборника вы прочтаете святочный рассказ Желиховской о чудесном сне в руку, жизненные и злободневные новеллы Мопассана, а также рассказ-пародию Горького на «Преступление и наказание».

«Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочтаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлomu празднику Рождества Христова.

В «Рождественских историях» вас ждут волшебство, чудесные перерождения героев, победы добра над злом, невероятные стечения обстоятельств, счастливые концовки и трагические финалы. Вместе с героями вы проникнитесь важностью добрых дел человеческих, задумаетесь о бескорыстии, о свете и милосердии, о божественном в человеке.

Максим Горький Вера Желиховская Ги де Мопассан Рождественские истории

(сборник 7 ч.)

Предисловие от составителя

Книга, которую вы собираетесь почитать, вышла в серии «Рождественские истории». В семи книгах серии вы найдете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Под одной обложкой мы собрали рассказы и повести, были и притчи, написанные Андерсеном, Гоголем, Диккенсом, Гофманом и Лесковым, Горьким и Мопассаном.

В «Рождественских историях» вас ждут волшебство, чудесные перерождения героев, победы добра над злом, невероятные стечения обстоятельств, счастливые концовки и трагические финалы. Вместе с героями вы проникнитесь важностью добрых дел человеческих, задумаетесь о

бескорыстии, о свете и милосердии, о божественном в человеке. На страницах этих книг вам откроются (или вспомнятся) истины, которыми захочется поделиться с родными, близкими и даже незнакомыми людьми накануне великого праздника.

Рождественский или святочный рассказ — это занимательный, но подзабытый нынче жанр классической литературы. Чего не скажешь о XIX веке, когда этими рассказами захлеб зачитывалась вся Европа. Англичанин Чарльз Диккенс со своими «Рождественскими повестями» стал не только основателем жанра, но и «изобретателем Рождества». Через некоторое время в Дании внес свою лепту в чтение, расцвеченное рождественским сиянием, сказочник Ганс Христиан Андерсен — написав удивительной силы трагическую и в то же время светлую историю «Девочка со спичками».

В русской литературе рождественский рассказ успешно прижился и приобрел самобытные черты. «Русским Диккенсом» по праву называют Николая Лескова, автора целого цикла святочных рассказов. Наделяя свои произведения моральным подтекстом, элементами фантастики и веселой концовкой, Лесков все же утверждал, что *«святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и*

нравы» . В этом жанре писали Достоевский, Чехов, Куприн. И у каждого из них ощутимо то, о чем говорил Лесков.

Дабы не ограничивать околорождественское литературное многообразие лишь святочными рассказами, мы также напомним вам о великом мистике Николае Гоголе и его повести «Ночь перед Рождеством», которая, кстати, была издана на десять лет ранее Диккенсовских повестей.

Нельзя было не включить в список для рождественского чтения притчу Льва Толстого о добром сапожнике «Где любовь, там и Бог», которую в различных пересказах и интерпретациях издают во всем мире и считают одной из настольных книг к Рождеству. Наверняка вам также будет интересно, что думают о Рождестве герои Ги де Мопассана. Удивят вас необычными рождественскими сюжетами и русские литераторы (К. Станюкович, В. Желиховская, Н. Гарин-Михайловский и др.), чье творческое наследие и сегодня заслуживает читательского внимания.

Светлого вам Рождества и увлекательного чтения!

Наталья Уварова

Максим Горький

В сочельник. Извозчик

В сочельник

...Как-то раз я сидел в кабачке с неким человеком и скуки ради уговаривал его рассказать мне какую-нибудь историйку из его жизни. Собеседник мой был субъект невероятно изодранный и истёртый, казалось, что он всю жизнь свою шёл какими-то тесными местами и всюду задевал своим телом, вследствие чего костюм на нём превратился в лохмотья, а тело куда-то исчезло, как будто его сорвало с костей. Был этот человек тонок, угловат и совершенно лыс, — на жёлтом его черепе не росло ни одного волоса. Щёки у него провалились, скулы торчали двумя острыми углами, и кожа на них была так туго натянута, что даже лоснилась, тогда как всюду на лице она была сплошь изрезана тонкими морщинами. Но глаза у него смотрели бойко и умно; хрящеватый длинный нос то и дело насмешливо вздрагивал, и речь этого человека очень гладко лилась из его уст, полузакрытых жёсткими и рыжими усами. Мне думалось, что жизнь его была очень интересна.

— Рассказать вам историю мою? — спросил он меня сиповатым голосом. — Так-с... Надо рассказать, коли вы угощаете... Но ежели всю

историю — это не годится... чрезмерной длины жизнь я прожил!.. Скучно слушать и невесело рассказывать... А вот кусочек, анекдотец какой-нибудь могу! Желаете? Хорошо-с! Но только вы спросите ещё парочку пивка... за труды мне. Ведь иной раз для человека опуститься в своё прошлое, может быть, столько же неприятно, как в помойную яму слазить...

— ...Рассказишко этот, сударь вы мой, едва ли покажется вам значительным и для вашей писательской цели пригодным. Но для меня он... мне он нравится. Дело, изволите видеть, весьма простое и вот в чём заключается.

Однажды в сочельник рождественский мы — я и мой товарищ Яшка Сизов — целый день торчали на улице. Мы предлагали свои услуги разным барыням по части переноски их покупок.

Но барыни, нам не внимая, садились на извозчиков и уезжали, — из чего вы видите, что нам с Яшкой совсем не везло. Мы также просили милостыню и этим способом настреляли немножко; я — двадцать девять копеек, из которых гривенник, данный мне каким-то барином на крыльце окружного суда, оказался фальшивым, а Яшка, — парень вообще более талантливый, чем я, — к вечеру был настоящим богачом — у него было одиннадцать рублей семьдесят шесть копеек. Эту сумму, по его словам, сразу дала ему какая-то барыня, причем она, барыня-то, была так

великодушна и добра, что подарила Яшке не только деньги, а и кошелёк и даже носовой платок прибавила. Это, знаете, бывает. Иногда человек в такое состояние от доброты приходит, что становится почти полоумным и прямо изувечить вас готов своей добротой, только бы избыть её...

Когда Яшка рассказывал мне об истинно христианском поступке этой барыни, он почему-то всё оглядывался вокруг себя, — должно быть, хотел ещё раз поблагодарить добрую душу за щедрую милостыню... И всё торопил меня:

— Айда, айда скорее!..

А мы и без того бежали сломя головы. Я всем существом моим, каждым кусочком иззябшего тела торопился скорее в тепло. Дул ветер, взмётывая снег с дороги и сбрасывая его с крыш; холодные и острые колючки летали в воздухе и сыпались мне за шиворот. Рожу точно ножами скоблило, а шея до того иззябла, что, казалось, стала тоненькой, как палец, и готова была переломиться при неосторожном движении, так что я всё прятал её в плечи, боясь потерять голову. Мы оба были одеты не по сезону, но Яшке было тепло от удачи, а мне, от зависти, ещё холодней...

Я, видите ли, неудачник, чёрт бы меня взял... Один раз в жизни моей мне подарили самовар, да и то с горячей водой, так что, когда я бежал с ним, вода ошпарила мне ногу, и поэтому я недели полторы лечился в тюремной больнице. А другой

раз... Ну, да это к делу не относится...

Так вот — бежим мы это с Яшкой вдоль по улице, а он всё мечтает:

— Здорово мы встретим праздник! За квартиру заплатим... Получи, ведьма! Н-да... Водки четверть... Окорок бы? Мм... хорошо бы окорок! У-у! Дорого, поди? Ты не знаешь, как нынче окорока — в цене?

Я не знал. Но я знал внутреннюю цену окорока, и мы решили приобрести его, мы уговорились пойти покупать его в ту лавочку, в которой больше народу. Когда в лавочке тесно от покупателей, значит в ней хорош товар, — ergo (Следовательно. — Ред.), как, бывало, говорили латинцы, можно выбрать вещь по вкусу.

— Позвольте окорок! — кричал Яшка, втискиваясь в толпу покупателей. — Покажите мне окорок... не из крупных, но хороший... Извините, и вы мне тоже саданули в бок... Я очень хорошо понимаю, кто тут невежа... но знаю и то, что здесь с вежливостью невозможно... Я не виновен, что тут неудобно, тесно... Что-с? Я ваш карман щупал? Извините! Это ваша рука с моей встретилась, когда ко мне за пазуху лезла... Я покупаю на деньги, вы на деньги, стало быть, мы оба в одинаковом праве...

Яшка так вёл себя в лавке, точно пришёл покупать целую партию окороков, штук в триста. Я

же, пользуясь произведённой им суматохой, скромными моими средствами приобрёл коробку мармелада, бутылку прованского масла и две больших варёных колбасы...

— Ну, вот мы и с праздником! — радовался Яшка. — Попируем!.. — Он подпрыгивал на ходу, громко шмыгал своей «форточкой», как именовался его толстый и широкий нос, а серые глазки его так и сверкали от радости. Я тоже был рад...

Изредка вкусно поесть — большое удовольствие для маленьких людей.

И вот, сударь вы мой, двигаемся мы к дому нашему, а вьюга нас подгоняет. Жили мы в ту пору на краю города, в подвальчике у одной благочестивой старушки, торговки на толчке.

Места у нас в тех краях глухие были, пустынные, бывало, зимой после шести часов вечера на улицах — ни души! А ежели и появится какая-нибудь фигура, так уж душу свою непременно в пятках несёт.

Бежим мы и вдруг видим — человек впереди нас идёт. Идёт и шатается, очевидно — пьяный. Яшка толкнул меня и шепчет:

— В шубе!..

А встретить человека в шубе тем, видите ли, приятно, что у шубы пуговиц нет и очень уж легко она снимается. Идём мы сзади этого человека и видим — человек широкоплечий, росту немалого...

Бормочет что-то. Мы соображаем.

Но вдруг он сразу остановился, так что мы чуть ему носами в спину не воткнулись, — остановился, взмахнул руками да как рявкнет здоровеннейшим бацищем:

— Я то-от, кого никто-о не лю-юбит...

Точно из пушки выстрелил! Мы оба так и шарахнулись от него. Но уж он заметил нас.

Встал спиной к забору — опытный человек! — и спрашивает:

— Кто такие? Жулики?

— Нищая братия... — скромно ответил ему Яшка.

— Нищие! Это хорошо... Ибо я тоже нищ... духом... Куда идёте?

— В конурку нашу... — сказал Яшка.

— И я с вами! Ибо — куда ещё пойду? Некуда мне... Нищие! Возьмите меня с собой!

Кормлю и пою вас... Приютите меня... приласкайте!

— Зови! — шепнул мне Яшка.

Я слышал в ревушем голосе этого человека ноты пьяные, но слышал в нём и ещё нечто — вой и рёв в кровь расцарапанного больного сердца. У меня есть хорошее чутьё драмы, я в своё время суфлёром в театре служил... И я стал усердно звать к себе этого ревущего человека.

— Иду! Иду к вам, нищие! — гудел он во всю

силищу своей широкой груди.

Мы пошли рядом с ним, и он говорил нам:

— Знаете ли вы, кто я? Я есть человек, бегущий праздника! Податной инспектор Гончаров, Николай Дмитрич — вот я кто! У меня дома есть жена, там дети у меня... два сына... и я их люблю... Там цветы, картины, книги... Всё это — моё... Всё — красивое...

Уютно и тепло у меня дома... Вот бы всё, что есть у меня дома, вам бы, нищие... Вы бы долго пропивали всё это... Вы — свиньи, конечно... и пьяницы... Но я — не пьяница, хотя вот — пьян теперь. Я пьян потому, что мне душно... Ибо в праздник — мне всегда тесно и душно...

Вы этого не можете понять. Это — глубокая рана... это — болезнь моя...

Я слушал его с большим любопытством. Мне всегда, когда я вижу большого и здорового человека, думается, что вот этот человек — несчастный есть. Потому что жизнь — не для здоровых и больших людей. Жизнь сделана для маленьких, слабеньких, худеньких, дрянненьких.

Пустите осетра в болото — он сдохнет в нём, непременно сдохнет. А лягушки, пиявки и всякая другая дрянь не может жить в чистой, проточной воде. Для меня этот ревуший человек был очень любопытен...

И вот мы привели его к себе, в наш подвал,

чем очень испугали хозяйку. Она так поняла, что мы завели его к себе, чтоб ограбить, и хотела было сообщить о таком нашем намерении полицейской власти. Мы её успокоили, попросив старуху обратить внимание на наши чахлые фигуры и на него — огромного, с длинными ручищами, широкорожего, широкогрудого... Он мог удушить и нас и старуху и даже не вспотел бы от этого. Затем успокоенная старушка была откомандирована в кабак, а мы втроем сели за стол.

Сидим мы в миниатюрном логовище нашем и возливаем понемножку на встречу праздника.

Наш гость сбросил шубу и остался в одной рубашке, без жилета. Сидел он против нас и ревел нам:

— Вы, очевидно, жулики, я чувствую... Вы врётё, что нищие, — для нищих вы молоды... И потом — глаза у вас слишком наглы... Но кто б вы ни были, мне всё равно! Я знаю, что вам не стыдно жить, — вот в чём дело! А мне — стыдно! И я бежал из дома от стыда...

Вы знаете, сударь мой, болезнь есть такая нервная, пляской святого Витта называется она. Так вот есть люди, у которых совесть болит этой болезнью. И я видел, что инспектор именно из таких людей...

— У меня в доме — всё, всё устроено на этакую порядочную ногу. Это ужасно противно —

жить на порядочную ногу! Всё расставлено и развешано раз навсегда, и всё так приросло к месту, что даже землетрясение неспособно сдвинуть всех этих стульев, картин, этажерок...

Они пустили корни и в пол и в душу моей жены... Они, деревянные и бездушные, выросли в нашу жизнь, и я сам не могу жить без их участия. Вы понимаете? От привычки ко всей этой деревянной дряни — сам деревенеешь. Привыкаешь к ней, заботишься о ней, чувствуешь к ней жалость, чёрт её возьми! Она всё растёт и стесняет вас, она выталкивает воздух вон из комнаты, и вам нечем дышать. Теперь она — эта армия привычек — нарядилась к празднику, вымылась, вытерлась и — блестит. Противно блестит. Она смеётся надо мной... Да! Она знает — когда-то у меня было её всего три: койка, стул и стол. Был ещё портрет Герцена... Теперь у меня сотня мебели... Она требует, чтобы на ней сидели люди, достойные её цены... Ну, и ко мне являются сидеть на ней достаточные люди...

Инспектор тянул стакан водки и продолжал:

— Это всё порядочные люди, это полумёртвые люди, это благочестивые коровы, воспитанные пресными травами с лугов российской словесности... Мне с ними — невыразимо скучно, я задыхаюсь от запаха их речей... Я уже всё знаю, что могут они сказать, и знаю, что они ничего не

могут сделать для того, чтобы стать живее, интереснее. У-у! Они страшные люди по тупости их душ... Они все тяжёлые такие, большущие, и слова у них тяжёлые, как камни... Они могут раздавить человека... Когда они приходят ко мне, мне кажется, что вот меня обкладывают кирпичами, хотят замуровать в глухую стену... Я их ненавижу... Но я не могу их выгнать вон, и потому я боюсь их... Их не я привлекаю к себе... Я человек угрюмый, молчаливый... Они приходят просто для того, чтобы сидеть на моей мебели... Я однако и мебель не могу выбросить вон — её любит жена... У меня жена ради мебели и существует, ей-богу! Она уже и сама стала деревянная...

Инспектор хохотал, прислонясь спиной к стене. А Яшка, которому, должно быть, ужасно скучно было слушать инспекторовы вопли, воспользовавшись перерывом в его рассказе, сказал:

— А вы бы, ваше благородие, эту самую мебель изломали об жену...

— Что-о?

— То есть... видите, сразу бы эдак — вон всё!

— Дур-рак!

Он тряхнул пьяной головой и, опустив её на грудь, просто сказал:

— Ужасно тошно! И — как я одинок! Завтра праздник... А я не могу... я не могу быть дома...

Решительно не могу!

— У нас погостите! — предложил Яшка.

— У вас? — Инспектор оглянулся вокруг: наша квартирёнка была насквозь прокопчена и пропитана грязью.

— У вас тоже гадко... Но слушайте вы, черти!.. Мы переедем в гостиницу — идёт?

Завтра? И будем пьянствовать! Хотите? И будем думать... Как жить — подумаем! Идёт? Ей-богу, — ведь надо перестать жить порядочной жизнью, пора! Да? Вы, впрочем, жулики, и вам это непонятно...

— Я понимаю, в чём дело! — сказал я инспектору.

— Ты? Ты кто? — спросил он меня.

— Я тоже бывший порядочный человек... — сказал я. — Я тоже испытал прелести безмятежного и мирного жития. И меня выжимали из жизни её мелочи... Они выжали, вытеснили из меня и душу и всё, что в ней было... я тосковал, как вы теперь, и запил, и спился... имею честь представиться!

Инспектор вытаращил на меня глаза и долго в угрюмом молчании любовался мною. Его толстые, красные губы, я видел, брезгливо вздрагивали под пушистыми усами, а нос сморщился совсем нелестно для меня.

— Весь тут? — вдруг спросил он.

— Весь я — *omnia mea tecum porto* (всё своё

ношу с собой. — Ред.)! — подтвердил я.

— Кто же ты такой? — спросил он, всё рассматривая меня.

— Человек... Всякая сволочь — есть человек... и наоборот...

Я раньше был великий мастер говорить афоризмами.

— Мм... премудро, — сказал инспектор, не сводя с меня глаз.

— Мы народ тоже образованный, — скромно заговорил Яшка. — Мы можем вам соответствовать вполне... Люди простые, а не без ума... И тоже — мебели разной роскошной не любим... К чему она? Ведь человек не рожей на стул садится... Вы вот подружитесь с нами...

— Я? — спросил инспектор. Он как-то сразу протрезвился.

— Вы! Мы вам завтра такие тайны жизни откроем...

— Подай мне шубу! — вдруг приказал Яшке инспектор, поднимаясь на ноги. И на ногах он стоял совершенно твёрдо.

— Вы куда же? — спросил я.

— Куда?

Он с испугом посмотрел на меня большими телячьими глазами и вздрогнул, точно озяб.

— Я... домой...

Посмотрел я на его вытянувшееся лицо и

ничего больше не сказал. Каждому скоту уготован судьбою хлев по природе его, и, сколь бы скот ни лягался, — на месте, уготованном ему, он будет... хе-хе-хе!

Так и ушёл инспектор... Слышали мы, как, выйдя на улицу, он во всё горло рявкнул:

— Извозчик!..

Собеседник мой замолчал и начал пить пиво медленными глотками. Выпив стакан, он начал свистать и барабанить пальцами по столу.

— Ну и что же дальше? — спросил я.

— Дальше? Ничего... А вы чего ожидали?

— Да... праздника...

— Ах, вот что! Праздник — был... Я не сказал, что инспектор подарил Яшке свой кошелёк... В нём оказалось двадцать шесть рублей с копейками!.. Праздник был...

Извозчик

Святочный рассказ

Предпраздничная сутолока, дни всеобщей чистки, мытья и расходов — масса мелких расходов к сочельнику, почти дочиста опустошающих карман человека, живущего на жалованье, — эти два-три дня сильно расстроили и без того не

особенно крепкие нервы Павла Николаевича.

Проснувшись утром в сочельник, он чувствовал себя совсем больным и полным острого раздражения против всех этих условностей жизни, превращающих праздник, время отдыха, в какую-то бестолковую суету, против жены, придававшей этой суете значение чего-то необыкновенно важного, против детей, отчаянно шумевших без призора над ними, прислуги, утомлённой, озабоченной и ничего не делавшей так, как бы следовало.

Он хотел бы стоять вне всей этой «идиотской толкотни», но такая характеристика времени вызвала ссору с женой, и, чтобы успокоить её и себя, он принуждён был вмешаться в события: его откомандировали в магазин, потом на базар за ёлкой для детей, потом в оранжерею за цветами для стола, и, наконец, к пяти часам вечера, сильно утомлённый, плохо пообедавший, с тупой тоской на душе, он получил возможность отдохнуть. Плотнo затворив за собой двери, он забрался в спальню, лёг там на кровать жены и, закинув руки за голову, стал пристально, ни о чём не думая, смотреть в потолок.

В чистенькой и уютной спальне царил мягкий сумрак от зажжённой пред образом лампы, на пол и стены падали мягкие тени, падали и колебались. С улицы доносился шум полозьев по снегу, какие-то крики, стуки, но всё это звучало мягко,

убаюкивающе.

— Ах, Коля! Отстань ради бога!

«Это жена кричит на сынишку, он, наверное, ни в чём не виноват, но она устала, и он платится за это. Воспитание детей! Глупо говорить о воспитании детей, если мы сами ещё не воспитаны», — подумал Павел Николаевич.

«Я давеча тоже накричал на неё... Свинство! Впрочем, она поймёт, что это болезненное раздражение, не больше. Она мирится с тем, что я нервничаю. Вполне естественно нервничать, когда положение так незавидно. Жить, вечно работая для того, чтобы достать в месяц сотню рублей, оставляющих неудовлетворёнными более сотни твоих потребностей, да ещё уметь быть здоровым при такой жизни, — это не по силам современному человеку. Терпение хорошо, когда есть надежды на лучшее будущее. И как всё это глупо, мелко, пошло! А между тем вся жизнь в этих мелочах. Работаешь для того, чтобы есть, и ешь для того, чтобы завтра снова работать.

Семья. Кто-то предлагал законодательным путём запретить жениться беднякам. Несомненно, что это был сострадательный человек. Что я, с моим заработком, могу дать семье? Ни сносной в смысле удобств жизни жене, ни достаточно хорошего воспитания детям. Глупо всё! И непоправимо глупо, ибо сумма потребностей человека переросла

сумму его сил. Это не исправить распределением богатства без того, чтобы не выбросить из жизни нашего брата нейрастеника.

Зачем это я философствую? Вот тоже милая культурная привычка, что-то вроде пьянства, по её воздействию на организм!..»

Он повернулся на бок, поправил подушку под головой и, крест-накрест положив ладони рук на плечи, закрыл глаза.

Ему вспомнился разговор с извозчиком, который вёз его давеча с базара. Это был обтёрханный, хлибкий мужичонка, какой-то несчастный, унылый, разбитый.

— Али я такой мизгирь был год-другой тому назад? Эх ты! Куда те! Я в дворниках в ту пору жил у одной купчихи, у Заметовой. Слыхали? У неё, значит. Житьё было очень даже приятное. Подручный был, работы мало. Ну, я у безделья и задумался... Над чем? А так, вопче... надо всем... Рази, ежели правильным-то глазом посмотреть на жизнь, — не задумаешься?

Дьявол, первое дело. Чуть ты что — а он тебя своим духом и опахнул. Ну, ты сейчас, первое дело, — точку свою и потеряешь, с линии, значит, сшибёшься, и пошёл колобродить. Будто чего ищешь; а чего искать? Первое дело — себя самого надо найти, своё, значит, приспособление в жизни. Нашёл ты это — ну и здравствуй. Так-то...

— ...Купчиха эта, верно, скупающая. Но и деньжищев у неё — страхи! Ужаси! Накопила, дьявол. Капитолина Петровна звать-то её. А куда вот накопила? Спросите её — не скажет. Не знат, ей-ей, не знат! Умрёт ведь, как все люди; уж это первое дело! А рази для смерти-то деньжищи требуются? Очень даже маленько для смерти человеческой нужно! Так-то, сударь мой?

— ...Чевос? Так точно... Сродственников у ней нет. Одна, как перст. Как сова в дупле, в своём-то дому. Прислуга вся у неё — трое. Кучер, да я, дворник, значит, да Маришка такая есть; злющая стерва — в кухарках... Только всего! Гостят там и разные монашки, странницы и прочие эдакие народы. И как только они её не придушат однажды — богу известно. А надо бы её придушить, — потому как она совсем бесполезная тварь для господина. Но его воля, и ему это знат. Мы не судьи. А что сохранно живёт, это даже очень удивительно. Одна ведь, судите сами!

Хлясть её по чувствительному месту разок и — твои капиталы. Надо думать, кто-нибудь догадается про это. Счастлив будет, коли умно сделает! Ну, но, ты, трясогузица!

Извозчик болтал, чмокал на лошадь, ёрзал по облучку и то и дело оборачивал к Павлу Николаевичу своё маленькое, опухшее от пьянства лицо. Глаза у него были серенькие, живые, с

красными воспалёнными веками, нос, как луковица, и на обеих щеках сине-багровые пятна от мороза.

— Здорово я пил водку! — восхищённо восклицал он и улыбался во всю рожу от сознания своего удальства.

Павлу Николаевичу казалось, что этот мозглявый философ, мужичонка, где-то тут близко от него, и он ощутил беспокойство от сознания этой близости. Извозчик как бы мешал чему-то. Но это беспокойство, смутное и неопределённое, заставило его только глубже сунуть голову в подушку и поёжиться.

— Баба старая уж, много ли ей надо? Долбануть её разик — она и готова! — говорил извозчик.

— Ну вот, возьми и долбани! Убирайся! — сказал Павел Николаевич, раздражаясь.

— Я не могу. А ты сам — вот это так! Ты барин умный, значит, тебе это сручней.

— Пошёл вон! Чего ты прилез и мелешь ерунду? Я ведь заплатил! — крикнул Павел Николаевич.

— Точно что, — спокойно сказал извозчик. — Я уйду, не сердись. Я для тебя ведь больше.

Дело очень даже простое и совсем уж верное. Ты это обмозгуй. Куда она, подумай?.. Совсем ни к чему она. А ты человек живой. Средствов у тебя нет. А тут сразу её!

— Хорошо, ступай! Я усну вот немного, — сказал Павел Николаевич просто и спокойно.

— Ну, ну, усни, отдохни. Это хорошо. Прощай.

И извозчик исчез.

— Он не глуп, — сказал Павел Николаевич, садясь на постель. — Да, он прав. Я не Раскольников, не идеалист. Дело верное. Ставка рискованная, но выигрыш велик. О, если бы мне даже десять тысяч... Я сумел бы на них жить! Независимость — вот что такое деньги.

Сво-бода-а! Разве я не хочу свободы? А удовольствия? Это ведь иллюзия того, что зовут счастьем и что незнакомо никому. И всё это я беру одним ударом. Моя ставка — жизнь плохая, серая, скучная, выигрыш — жизнь независимая, богатая, полная всего, чем я захочу её наполнить. Мучения совести? Это пустяки, это фантазия. Совесть — это едва ли ощутимо, едва ли есть. Да что мне думать об этом, раз я решил, как поступить.

Когда он решил, он не заметил этого, это вышло как-то между дум, но он всем своим существом чувствовал, что уже решил, и бесповоротно.

— Как мне это сделать? — задал он себе вопрос. И тотчас же оттолкнул его прочь от себя.

— Нет, не надо обдумывать, ничего не надо. Пусть это удастся сразу или не удастся совсем.

Сразу, без думы — это лучше. Сейчас же начинать.

Он ощутил в себе страшный прилив энергии, энергии спокойной, уверенной в успехе предприятия, готовой на борьбу со всевозможными препятствиями. И, готовый к делу, он встал с постели, потянулся, напрягая мускулы и озабоченно посмотрел вокруг себя.

— Однако, чем бы мне её убить? Тем топориком, которым колют сахар? Лёгко. Утюгом?

Завернутым в полотенце утюгом! Да, да, это очень удобно. Я читал где-то. Прекрасный способ.

Мне нужно выйти так, чтоб меня не заметили. Утюг я возьму на окне в прихожей. Ещё нужен ридикюль или какой-нибудь мешочек для денег. Это есть у жены. Она наверное стала бы отговаривать меня, знай она, что я решил. Гм... Это так. Но общепринятые точки зрения не могут удержать меня, человека, с такой энергией и с таким светлым духом берущегося за дело, с этих точек зрения — преступное. Человек — мера всему; первый раз я сознал это и сознал так ясно. Из всех философов только софисты назвались мудрецами, и одни они имели на это право.

Да, человек — мера всему. Законы во мне, а не вне меня. Я не колеблюсь — значит, я прав. Иду.

Это любопытно, помимо всего прочего. Но что так переродило меня? Поистине, никто из нас не знает, что будет с ним в следующую за этой

минуту жизни!

Перед дверью купчихи Заметовой Павел Николаевич остановился и пристально посмотрел на фасад дома. Двухэтажный, старый, с облезшей штукатуркой, дом равнодушно смотрел своими четырьмя окнами на улицу и на человека перед ним. А человек стоял и думал:

«Как всё это будет — ужасно любопытно. Меня могут схватить, и тогда всё будет так глупо и так жалко. В сущности, я на пороге к новой жизни. Кто мне отопрёт дверь, что мне делать с ним? Ага, конечно. Это будет пробой, первым уроком».

И он сильно дёрнул ручку звонка, после чего его сердце как бы перестало биться в ожидании будущей минуты. Минут прошло много, пока за дверью не послышались шаги и звонкий голос спросил:

— Кто там?

«Это кухарка Маришка», — сообразил Павел Николаевич и ощупал под полкой своего пальто оружие.

— Сосипатра Андреевна дома?

— Дома. А вы кто?

— Скажите... из... от Бирюкова, — вспомнил Павел Николаевич фамилию хозяина лучшего гастрономического магазина в городе.

Щёлкнул ключ, дверь отворилась, и перед Павлом Николаевичем встала молоденькая девушка

с чёрненькими живыми глазками. Это его обескуражило.

— А разве Марины нет дома? — спросил он, не переступая порога.

— Она в баню пошла. Проходи, — сказала девушка, ещё шире растворяя дверь и доверчиво рассматривая лицо гостя.

— А! — задумчиво сказал Павел Николаевич, покусывая свою бороду, — знаете, это очень жаль. Вы такая молодая и... пожалуй, я ворочусь!

— Да господи! Разве не всё равно? — воскликнула девушка, широко открывая глаза.

— Всё равно, вы говорите? Гм! А, пожалуй, вы правы. Хорошо, я иду дальше. Заприте дверь.

— Сейчас запру; не так же оставлю, — усмехнулась она, и снова щёлкнул ключ и загремел какой-то железный крюк.

Девушка наклонилась к ногам Павла Николаевича, желая помочь ему снять калоши, и в этот момент он, высоко взмахнув утюгом, с силой опустил его на её затылок. Удар был верен и прозвучал так тупо. Девушка глубоко вздохнула, ткнулась лицом в пол и вытянулась на нём.

Павел Николаевич слышал, как что-то треснуло и потом ещё что-то металлическое покатилося по полу.

«Это, должно быть, у неё пуговица от корсажа оторвалась, — подумал он, глядя на стройное тело,

лежавшее у его ног в складках розового ситца. — Однако я ведь убил человека.

Это не трудно и не страшно. А говорят и пишут, что убить... Ха-ха-ха! Сколько лишнего на свете, сколько лжи! И для чего лгут, говоря о благородстве человека? Для того, чтобы сделать его благородным посредством этой лжи».

— Аннушка, кто пришёл? — раздался сверху женский голос, сухой и твёрдый.

— Это я! — быстро ответил Павел Николаевич и пошёл вверх, шагая по две ступеньки.

— Что вам угодно, батюшка?

На верху лестницы стояла высокая и худая старуха в тёмном платье, с длинным костлявым лицом и длинной же шеей. Она несколько наклонилась вперёд, пытливо всматриваясь в идущего к ней человека.

«А уют-то я оставил внизу!» — и на мгновение Павел Николаевич замер на месте. Это не укрылось от взгляда Заметовой.

— Что вам угодно? — громче, чем в первый раз, спросила она и отступила шага два назад.

Сзади неё было зеркало, и Павел Николаевич видел шею Заметовой сзади.

— Я от Бирюкова! — сказал он, усмехаясь чему-то и идя на старуху.

— Пстой, пстой! — произнесла она, простирая обе свои руки.

Павел Николаевич развёл их так, что они охватили его бока, и быстро схватил старуху за горло.

— От Бирюкова! — повторил он, глубоко втискивая в её шею свои пальцы и нащупывая под кожей позвонки. Старуха хрипела и цапалась за его пиджак то на груди, то с боков. Лицо у неё посинело и вздулось, изо рта вываливался смешно болтавшийся язык. Своими локтями он сжал ей плечи, и она не могла достать костлявыми пальцами до его головы и лица, но пыталась сделать это. Ей удалось, наконец, схватить его за ворот — из рубашки у него вылетел запонок и покатился по лестнице.

«Улика, — мелькнуло у него в голове, — надо найти». Старуха уже шаталась, но всё ещё боролась, толкая его своими коленями и разрывая на нём платье.

— Перестаньте! — вскричал он повелительно и громко, чувствуя её ногти на коже своей груди, и, крикнув, он сильно стиснул руками её горло. Она зашаталась и рухнула на пол, увлекая за собой и его. Он свалился на неё и чувствовал предсмертный трепет старческого тела.

Затем, когда ему показалось, что она мертва, он разжал свои руки, освободил её шею и, отирая с лица пот, сел на полу рядом с нею. Он чувствовал себя усталым и раздражённым чем-то — не злым,

не зверем, но именно раздражённым и только. Старуха не двигалась, лёжа в изломанной позе. Павел Николаевич смотрел на неё и не чувствовал ничего: ни жалости, ни боязни, ни омерзения к трупу. Он был совершенно равнодушен. Он сидел и думал:

«Однако как легко люди умирают, и как им мало для того надо. Удар куском железа, и человека нет. Всё — смысл, слово, движение — исчезает от грубо ясной причины — и всё это само по себе так неясно. Скверно умирать, стоит ли жить для того, чтобы умереть в конце концов; стоит для этого делать что-либо — убивать, например? Глупо и пошло! Ну, зачем я всё это сделал? Я уйду, чёрт с ними, с деньгами! Это всё проклятый извозчик».

— А! Ты здесь?

Он, действительно, был тут; он сидел на перилах лестницы, побалтывая в воздухе ногами и с любопытством смотрел на Павла Николаевича. В одной руке у него был кнут, другой он держался за перила.

— Мы давно здесь! — сказал он спокойно. — Управился с делами-то?

— Скотина ты, зверь! Спрашиваешь ты о чём... Ведь я людей убил! Хочешь, я и тебя убью?

Ты хоть заслуживаешь этого, зверь! — возмутился Павел Николаевич.

— Что ты убил людей — это верно. Но

сердиться на меня за это не надо. Ведь тебе их не жалко?

— Нет, но всё-таки.

— Коли тебе их не жалко — так и говорить не о чем. Да потом, чего жалеть мёртвых? Живых бы — другое дело. Живой человек достоин жалости. Это так.

— Ну, ты не философствуй! — сурово сказал Павел Николаевич. — Ты уходи, и я уйду. Глупо всё это.

— А деньги-то? Деньги возьми! Возьми, попробуй. Может, ты с деньгами-то и счастье найдёшь своё. Деньги надо взять, за этим ты и пришёл сюда.

— Да-а! Это верно. Я возьму.

Павел Николаевич, сидя на полу, схватил голову руками и покачнулся. Одна мысль поразила его.

— Как же это я так равнодушен, я — убийца? Ведь я убил сейчас людей — лишил их жизни?

Как же это? Где же мои чувства? Совесть? Разве во мне нет закона? Никакого внутреннего закона? Что же это такое? Извозчик, что ты со мной сделал? Ведь я совершенно равнодушен, а?

Пойми же, я — равнодушен!

Извозчик хладнокровно сплюнул в сторону и ударил себя кнутовищем по колену. Потом он посвистал, пристально оглядев Павла Николаевича.